

Через всю жизнь — эпизод 3 из 3

С той поры прошло пятьдесят лет. За это время, особенно в начале столетия, не раз пришлось слышать утверждения, что «Пушкин устарел», что «нельзя теперь писать стихи и прозу в пушкинской манере». Какая-то часть этих утверждений повторялась и в первые годы советской власти, когда грамотеи старой выучки усиленно призывали «идти вперед не от давних этапов, а от последних достижений литературы». Вскоре, однако, эти «последние достижения литературы», то есть словесные фокусы, сюжетное вихлянье и всякого рода кривлянье на пустом месте, были отброшены, а «давние этапы», в частности творчество Пушкина, стали предметом внимательного изучения.

Всенародная известность поэта справедливо является предметом национальной гордости каждого из нас, но, мне кажется, она особо волнует тех, кто еще помнит времена, когда о Пушкине нельзя было говорить полным словом.

А все-таки и теперь, когда появилось немало солидных работ о Пушкине, его творчество не кажется раскрытым полностью. Даже больше того, с годами начинаешь думать, что многое в этом творчестве гораздо сложнее, чем ты раньше считал.

Взять, например, «Повести Белкина», пять небольших рассказов об анекдотических случаях жизни разных слоев населения крепостной России. Написаны они так просто, что кажется, будто каждый грамотный может так рассказать. Читал ты эти «Повести Белкина» не один раз, помнишь фабулу каждого рассказа, но почему-то любой рассказ с любой строки приковывает твоё внимание и заставляет читать или слушать до конца.

Говорят, что это своего рода рефлекс — воздействие усвоенного с детских, юношеских лет. Может быть, это и верно в какой-то степени, но полной правды тут нет. Что побуждает перечитывать «Выстрел», «Метель», «Станционного смотрителя», «Гробовщика», «Барышню-крестьянку»? Там как будто все ясно до предела, усвоено с первого чтения, не особенно волнует близостью темы, а читаешь с наслаждением. Что здесь больше действует? Насыщенность живой деталью, в силу чего кажется интересным даже похмельный сон гробовщика? Или, может быть, влечет внешняя простота, за которой чувствуешь ту высокую ступень искусства, когда оно становится незаметным для читателя, слушателя, зрителя.

Не менее удивительным кажется у Пушкина и воплощение исторических образов, их историческая правдивость и полнокровность. В частности, особо изумляет изображение Пугачева, который, как известно, действовал среди мало знакомого поэту казачьего населения. Между тем едва ли кто станет оспаривать, что за сто двенадцать лет, прошедших со дня смерти Пушкина, наша литература не смогла дать образ Пугачева, равный тому, какой имеем в «Капитанской дочке».

А полиметалл пушкинских сказок? Разве мы знаем тайну этого сплава личного и народного творчества?

Наконец, черновые записи Пушкина. Что в них? Стремление уловить «первозданную красоту и оригинальность факта» или творческое его преобразование при самой записи?

Словом, семидесяти лет моей жизни не хватило, чтоб понять тайну творчества А. С. Пушкина.

Есть, правда, для всего этого простое объяснение — ссылка на гениальность поэта. Гениальность, разумеется, бесспорна и несравнима, но рядом с ней у Пушкина идет и большой труд. Все мы знаем, например, что роман «Евгений Онегин» писался 8 лет, что небольшой повести «Капитанская дочка» предшествовала большая работа в архиве и, кроме того, длительная и трудная по условиям того времени поездка на лошадях из Петербурга в Оренбург.

Эта вот сторона трудовой жизни поэта и кажется мне слабо изученной, а в ней-то и надо искать ответа на вопрос о пушкинском проникновении в жизнь народа, в его речь, жест, устремления и мечты.